

На октябрьскую книгу „Русскаго Богатства“ наложенъ арестъ.

См. стр. 313, II отдѣла, «Отъ редакціи».

НОЯБРЬ.

1911.

РУССКОЕ БОГАТСТВО

№ 11.

СОДЕРЖАНІЕ:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. ГОДЪ. Продолженіе | В. Муйжеля. |
| 2. ПЕРВЫЕ ИТОГИ «ВЕЛИКОЙ РЕ-
ФОРМЫ». Окончаніе | Н. Огановскаго. |
| 3. СМЕРТНИКИ. Повѣсть. Окончаніе . . | Николая Олигера. |
| 4. О ПРИЧИННОМЪ ОБЪЯСНЕНІИ ОР-
ГАНИЗАЦИИ ЖИВОТНЫХЪ. | Рихарда Гертвига. |
| 5. ИЗЪ ЗАПИСОКЪ ЗАГРАНИЧНАГО
АГИТАТОРА | А. К. |
| 6. ЕНДРЕКЪ ЧАЙКА. | Станислава Виткевича. |
| 7. ОТНОШЕНІЯ МЕЖДУ РЕЛИГИЕЙ и
ПОЛИТИКОЙ у ФИЛОСОФОВЪ
XVIII ВѢКА | Н. Карѣва. |
| 8. ИЗЪ АНГЛИИ. | Діонею. |
| 9. НА ОЧЕРЕДНЫЯ ТЕМЫ | А. Пѣшихонова. |
| 10. ХОЛЕРА ИЛИ КУЛЬТУРА (По поводу
однихъ «Трудовъ») ? | А. А. Титова. |
| 11. ИЗЪ БОЛГАРІИ. | И. Калины. |
| 12. ОБОЗРѢНІЕ ИНОСТРАННОЙ ЖИЗНИ. | Н. С. Русанова. |
| 13. ХРОНИКА ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ. . | А. Петрищева. |
| 14. ЛИТЕРАТУРА и ГЕРОИЗМЪ | А. Горнфельда. |
| 15. НОВЫЯ КНИГИ. | |
| 16. ПАМЯТИ ЛАФАРГОВЪ | Н. С. Русанова. |
| 17. ОТЪ РЕДАКЦИИ | |
| 18. ОТЧЕТЪ КОНТОРЫ РЕДАКЦИИ. | |
| 19. ОБЪЯВЛЕНІЯ. | |



При этомъ номерѣ для *вольнаго* подписчиковъ и въ розничной продажѣ предлагается безплатно: 1) Переводный бланкъ для возобновления подписки на журналъ «Русское Богатство»; 2) Проспектъ Т-ва Издательскаго Дѣла «Копѣйка», «Всмирную Панораму» и «Солнце Россіи»; 3) Проспектъ журнала «Вѣстникъ Воспитанія» (Міс-ква, Арбатъ, Старокош-шенный пер., 32); 4) Проспектъ журнала «Жизнь для вольнаго» (Слѣб., ул. Жуковскаго, 22). Только для *аморгоднихъ* подписчиковъ: 5) Про-спектъ о книгахъ и каталогъ книжнаго магазина А. К. Толкина (Слѣб., Литейный, 49), и 6) Пробный № пог. ярнаго медицинскаго Пекть о книгахъ и каталогъ книжнаго магазина А. К. Толкина (Слѣб., Навескинская, 1).

газетахъ, а иногда и въ одномъ и томъ же номерѣ читать и предположенія, что курсъ не можетъ не измѣниться въ благожелательномъ смыслѣ, и разсужденія, что ожидать этой перемѣны нѣтъ основанія: и г. Коковцовъ—величина, достаточно опредѣлившаяся, и логика вещей толкаетъ его въ опредѣленную сторону,—кто сказалъ А, тотъ скажетъ и В... Мысль, спустившаяся съ высоты общихъ вопросовъ и не находящая сколько-нибудь плодотворнаго практическаго дѣла, уходитъ въ пустопорожня мѣста; подталкиваемая жаждою перемѣнъ, увлекаемая надеждою на неожиданности неограниченныхъ возможностей, она становится, повидимому, слишкомъ независимой отъ своего хозяина. Хозяинъ-то, если его привести въ нормальное состояніе, прекрасно знаетъ и понимаетъ, что гаданія смѣшны, выводы произвольны. Но его мысль убѣгаетъ изъ-подъ его надзора. Вотъ и появилось множество мыслей, сбѣжавшихъ отъ хозяина, безпризорныхъ.

Мысль, сбѣжавшая отъ хозяина, шалить. Но и хозяинъ, потерявшій должную власть надъ своими мыслями, тожъ становится подверженъ шалымъ случайностямъ. Это вообще состояніе интеллектуальнаго упадка, когда такъ легко подкрадывается къ человеку пошлость и незамѣтно втягиваетъ его въ свои болота и трясины. Это злокачественный тупикъ, изъ котораго надо найти выходъ. И выходъ, думается мнѣ, есть только одинъ: онъ ведетъ отъ бесплоднаго скитанія по пустопорожнимъ низинамъ и болотамъ назадъ—къ высотамъ нерѣшенныхъ и неотложныхъ общихъ вопросовъ.

А. Петрищевъ.

Литература и героизмъ.

С. А. Венгеровъ. Героическій характеръ русской литературы. Изд—во „Прометей“. Спб. 1911. Стр. 205. Ц. 1 р.

Основная мысль книги С. А. Венгерова популярна въ широкихъ кругахъ русской интеллигенціи. Всѣ мы привыкли гордиться русской литературой и общимъ сочувствіемъ откликнулись, когда С. А. Венгеровъ сперва съ кафедры петербургскаго университета, затѣмъ въ брошюрѣ, воспроизводящей его лекцію, воздалъ пламенную хвалу русской литературѣ за то, что «никогда не замыкалась въ тѣсномъ кругу эстетическихъ интересовъ, она всегда была кафедрой, съ которой раздавалось учительное слово», за то, что «задачи нравственныя въ русскомъ литературномъ сознаніи всегда

стояли на первомъ планѣ». Мысль была не нова, но впервые она была провозглашена съ такимъ увлеченіемъ, впервые была сдѣлана попытка не только заявить, но и доказать ее. Нынѣ С. А. Венгеровъ расширяетъ эту попытку, подвергая новой провѣркѣ свою излюбленную мысль, и тѣмъ не только обосновываетъ ее, но и сообщаетъ ей надлежащее содержаніе. Здѣсь онъ систематически примѣняетъ ее ко всѣмъ выдающимся теченіямъ и представителямъ русской литературы, сопоставляя ея идеалы и достиженія съ общимъ духомъ литературы западно-европейской.

Любовь предвзята, и потому при каждой попыткѣ такого сопоставленія рѣзко бросается въ глаза, какъ почтенный панегиристъ русской литературы мало склоненъ цѣнить высокія стремленія западныхъ литературъ, и, наоборотъ, какъ онъ снисходителенъ къ русскимъ писателямъ тамъ, гдѣ сомнѣніе въ ихъ «героическомъ характерѣ» нарушило бы его заманчивую схему. Это разнообразіе критеріевъ печально не потому, что оно бросаетъ тѣнь на научное безпристрастіе С. А. Венгерова, но потому, что оно помѣшало ему выполнить его важную задачу. Ибо не трудно было провозгласить, что русская литература создана была героями мысли и чувства; трудно было перевести эту формулу отъ смутной вѣры къ твердому убѣжденію, трудно было дать ей исчерпывающее содержаніе. А этого содержанія, убѣдительнаго и конкретнаго, мы не находимъ въ аргументаціи С. А. Венгерова: и впредь мы также вынуждены принимать на вѣру героическій характеръ русской литературы, довольствоваться своими неясными впечатлѣніями и ждать, чтобы пришелъ ктонибудь и сказалъ намъ, да что же такое есть въ этой русской литературѣ особенное, неотразимо привлекательное, прекрасное, героическое, чего мы не находимъ въ другихъ литературахъ.

I.

Героизмъ абсолютенъ. Не всѣ вещи познаются сравненіемъ, и герой опредѣляется не посредствомъ сравненія его съ трусами. Чтобы показать, что русская литература героична, надо было твердо установить, что мы будемъ считать героизмомъ, а затѣмъ выяснитъ, въ чемъ и какимъ образомъ русская литература соответствуетъ этому высокому идеалу. С. А. Венгеровъ не ступилъ на этотъ путь. Онъ восхваляетъ русскую литературу по преимуществу на счетъ литературы западно-европейской, а тамъ, гдѣ онъ старается установить общій героическій характеръ русской литературы на примѣрахъ отдѣльныхъ русскихъ писателей, онъ такъ разнообразенъ въ критеріяхъ, что не разъ, соглашаясь съ нимъ по существу, въ заключеніе все таки думаешь: *такъ* доказать можно что угодно.

Лишь непонятнымъ ослѣпленіемъ можно объяснить ту прихотливость, съ которой восхвалены въ книгѣ его русскія литера-

турныя явленія, тѣ натяжки, на которыхъ построены его сплошной панегирикъ, ту легкость, съ которой онъ пропускаетъ въ свой *моральный* пантеонъ всякаго, кто имѣлъ честь принадлежать къ словію російскихъ литераторовъ. Всѣ у него политики—даже аполитики, всѣ у него религіозны—даже антирелигіозны, всѣ у него идейны—даже безидейны, всѣ у него прогрессисты—даже реакціонеры, всѣ у него герои—даже трусы. А между тѣмъ вѣдь совершенно ясно, что, ставъ на надлежащую точку зрѣнія, можно было не дѣлать изъ Фета общественнаго борца, изъ Чернышевскаго религіознаго проповѣдника, изъ революціонной моды въ декадентствѣ гражданскаго подвига и такъ далѣе. Русская литература можетъ быть велика и тогда, когда создаютъ ее чистый лирикъ Фетъ, атеистъ Чернышевскій, реакціонные декаденты. И, право, не нужно никакой смѣлости, чтобы согласиться съ этимъ.

Этого разнообразія идеаловъ и индивидуальностей не захотѣлъ признать С. А. Венгеровъ. Разъ русская литература есть каеэдра учительнаго слова, то этимъ все напередъ установлено: каждый русскій писатель есть проповѣдникъ морали, прогрессистъ, альтруистъ и подвижникъ. Нѣтъ ничего легче, какъ доказать эту обязательную истину; явленія діаметрально противоположныя—и противоположныя именно съ той точки зрѣнія, которая занимаетъ С. А. Венгерова—являются въ его обработкѣ подтвержденіемъ его тезиса. Есть ли, напримѣръ, въ поэтической дѣятельности Державина что-нибудь такое, что позволило бы видѣть въ ней иллюстрацію къ тезису о героическомъ характерѣ русской литературы? «Оды Державина—говоритъ С. А. Венгеровъ—вышли изъ невысокихъ побужденій». Казалось-бы,—гдѣ ужъ тутъ героизмъ? По-считаться бы съ менѣе высокими требованіями. «Но—отвѣчаетъ С. А. Венгеровъ—настоящій талантъ никогда не можетъ остаться въ сферѣ однихъ низменныхъ побужденій, и въ общемъ оды Державина являются живою поэтической лѣтописью своего времени и искреннимъ выраженіемъ восторговъ, возбужденныхъ «блестящимъ» по виѣшности царствованіемъ Екатерины. Характерно, что даже такое, казалось бы, отрѣшенное, по своей темѣ, отъ условій мѣста и времени произведеніе, какъ ода «Богъ», непосредственно вытекло изъ полемическаго желанія автора дать отпоръ шедшему изъ Франціи скептицизму».

Вотъ какой съ Божьей помощью оборотъ. Хорошо бытъ «настоящимъ талантомъ»; кому не хочется причислить генія къ своимъ?—въ концѣ концовъ непремѣнно кто нибудь докажетъ, что «настоящій талантъ не могъ остаться въ сферѣ однихъ низменныхъ побужденій». Но если дѣло такъ просто, то о чемъ же разговоръ? Вѣдь во всякой литературѣ были «настоящіе таланты»—стало бытъ, и побужденія ихъ соотвѣтствовали ихъ произведеніямъ, а не наоборотъ... Но были, конечно, въ русской литературѣ и не столь «настоящіе», вѣростепенные таланты. По мнѣнію С. А. Вен-

герова «у остальныхъ (кромя Г. И. Успенскаго) писателей изъ народной жизни—Златовратскаго, Каронина, Наумова, Засодимскаго, Нефедова и др. добрыя намѣренія преобладали надъ исполненіемъ». Изъ добрыхъ намѣреній ничего дурного, конечно, произойти не могло. Они создали «такое явленіе, какого не было въ литературѣ западно-европейской и которое какъ нельзя ярче иллюстрируетъ общій тезисъ настоящей книжки—о героическомъ характерѣ русской литературы». Дѣло въ томъ, что европейскіе бытописатели крестьянской жизни «просто себѣ живописуютъ» или обличаютъ, а «русскіе писатели-народники священнодѣйствуютъ»: «народная литература» почти утратила характеръ художественнаго явленія и превратилась въ одно изъ наиболѣе горячихъ проявленій стремленія заглазить предъ народомъ многовѣковую вину.

Такимъ образомъ, всѣ дороги ведутъ въ Римъ: «низменные побужденія» Ломоносова и Державина и «добрыя намѣренія» беллетристовъ-народниковъ одинаково выражаютъ добродѣтель русской литературы. Конечно, отъ «низменныхъ побужденій» до «героическаго характера» довольно далеко; но видите-ли, Кантемиръ обличалъ, Ломоносовъ былъ «страстнымъ агитаторомъ усвоенія европейской культуры», Жуковскій «взялъ на себя роль учителя въ буквальномъ смыслѣ слова и знакомилъ русское общество съ литературой Запада въ рядѣ превосходныхъ переводовъ», Крыловъ въ басняхъ бичевалъ пороки своего времени и т. д. Все это показываетъ «учительный характеръ» русской литературы, а отъ «учительнаго характера» до «героическаго характера» вѣдь рукой подать: стоитъ только понизить требованія, предъявляемыя къ героизму.

Между тѣмъ вѣдь въ этихъ требованіяхъ все дѣло. Важно вѣдь не то, признаемъ мы или отвергаемъ «героическій» характеръ русской литературы: слишкомъ ужъ не трудно признать его. Важно то, что мы назовемъ при этомъ героизмомъ, какимъ путемъ пойдемъ въ его установленіи, съ какимъ смысломъ свяжемъ высокое слово. Оно вѣдь все таки только слово—и чѣмъ менѣе опредѣленно, чѣмъ болѣе противорѣчиво содержаніе, вкладываемое въ него изслѣдованіемъ, тѣмъ болѣе оно становится пустымъ звукомъ, не внушающимъ того преклоненія, котораго требовало бы высокое понятіе.

II.

С. А. Венгеровъ восхвалялъ русскую литературу въ ея цѣлкупности, въ ея вѣи-исторической основѣ. Возможны были бы, конечно, возраженія. Возможно, на примѣръ, сомнѣніе, —можетъ ли оставаться неизмѣнно высокимъ напряженіе идеализма въ исторіи литературы, имѣющей за собою рядъ столѣтій? Предвидя это возраженіе, С. А. Венгеровъ отвѣчаетъ на него тезисомъ, нуждаю-

щимся въ провѣркѣ: «Эволюціонируетъ»,—говорить онъ,—вообще, не сущность народной и литературно-общественной психологіи, а проявленія ея. Не увеличивается и не уменьшается самый запасъ идеализма, а измѣняется его устремленіе». Отмѣтимъ мимоходомъ, что въ рѣзкомъ противорѣчій съ этимъ заявленіемъ находится та характеристика, которую С. А. Венгеровъ даетъ восьмидесятымъ годамъ прошлаго столѣтія—«чернымъ днямъ Побѣдоносцевщины», ознаменованнымъ «тлетворнымъ стремленіемъ декадентства затупить тоску по подвигу»; очевидно, невозможно считать неизмѣннымъ «запасъ идеализма». Но пусть такъ, пусть «эволюціонируетъ не сущность, а формы». «Источникъ того порыва къ подвигу, который я считаю основною особенностью новѣйшей русской литературы и въ которой вижу главный источникъ ея обаянія, можно было бы прослѣдить далеко въ глубь русской исторіи. Нетрудно, напр., провести прямую психологическую нить отъ протопопа Аввакума и самосожигателей вплоть до самопожертвованія и борьбы за свои идеи самыхъ послѣднихъ годовъ. Это—одинъ и тотъ же благородный металлъ, только въ разныхъ обработкахъ».

Да, нетрудно,—если удовлетвориться методологическими и иными требованіями С. А. Венгерова. Но стоитъ ли проводить *такую* нить? Что уяснить она и кого осѣнить ореоломъ героизма? Не принижается ли и подвигъ Аввакума, и мученичество за идею «послѣднихъ годовъ», если къ духовному объединенію ихъ призваны всѣ, кто былъ между ними: и равнодушные, и враждебные, и ничтожные. Не лучше ли разорвать эту нить, если она идетъ черезъ «истинный талантъ» Державина, не мѣшающій его «низменнымъ побужденіямъ», черезъ «каннибальскіе гимны» Минскаго, черезъ прекраснодушіе Андрея Бѣлаго, черезъ «истиннаго Бога, настоящаго, Бога страданій и самопожертвованія», котораго С. А. Венгеровъ почувствовалъ въ исканіяхъ Д. С. Мережковскаго, и такъ далѣе. Нить есть, конечно,—но С. А. Венгеровъ не скрѣпилъ ея тѣмъ, что вплелъ въ нее многое, безконечно ей чуждое... Героевъ не такъ много на этомъ свѣтѣ, и чѣмъ снисходительнѣе моралистъ въ причисленіи къ ихъ сонму, тѣмъ, очевидно, ниже его представленіе о героизмѣ. Въ этомъ смыслѣ особенно характерно отношеніе С. А. Венгерова къ такъ называемому русскому модернизму. Панегиристъ русской литературы въ ея цѣлокупности, онъ хотѣлъ восхвалить ее въ ея основѣ, въ ея вѣ-временной сущности—и въ этомъ онъ, конечно, правъ. Но онъ былъ и остался человѣкомъ опредѣленнаго общественно-политическаго направленія—и, разумѣется, мы менѣе всего намѣрены ставить ему въ укоръ послѣднее обстоятельство; однако оно не могло не повліять на то представленіе о героизмѣ русской литературы, которое составилъ себѣ С. А. Венгеровъ и которое старается внушить намъ. Онъ не могъ оцѣнить декадентство иначе, какъ оцѣнилъ: оно «зародилось въ черные дни Побѣдоносцевщины» и— «въ унисонъ съ Побѣдоносцев-

пиной повело ожесточенную борьбу съ дѣятелями и идеями 60-хъ годовъ». Казалось бы, этого достаточно: разъ идейная борьба, то уже и геройство: дѣло вѣдь не въ направленіи борьбы. Такъ С. А. Венгеровъ и смотритъ на русскую литературу до 1880-хъ годовъ; здѣсь лишь зародились «аморализмъ и аполитизмъ»; раньше-же даже наши парнасцы должны считаться общественно-политическими дѣятелями: и даже тѣ изъ поклонниковъ «чистаго» искусства, которые не пускались въ прямыя схватки, а только *намѣренно* уходили въ область абстрактнаго, *намѣренно* устранили въ своихъ произведеніяхъ все, что напоминало «грязь жизни», этимъ самымъ сообщали имъ весьма опредѣленную окраску». Къ декадентамъ, борьбу съ которыми онъ пережилъ самъ, С. А. Венгеровъ не могъ оказаться столь милостивымъ. Они вели борьбу, но тѣмъ хуже для нихъ: они были сторонниками политической реакціи. Видѣть проявленіе исконной тоски русской литературы по идеалу въ старыхъ реакціонерахъ еще возможно: ихъ талантъ прикрылъ все, а подобострастная исторія истолковала ихъ произведенія въ нужномъ намъ духѣ. Невозможно отшвырнуть отъ себя не только автора «Бѣсовъ», но даже авторовъ «Некуда» и «Взбаламученнаго моря»; они—наши, потому что они большіе люди,—и С. А. Венгеровъ охотно забудетъ, что они вели еще болѣе ожесточенную борьбу съ дѣятелями и идеями 60-хъ годовъ». Къ новымъ борцамъ—новая мѣрка, и къ декадентству, непризнанному, декадентству, о которомъ говорятъ, что оно «за предѣлами литературы» С. А. Венгеровъ суровъ безпощадно. Но происходитъ обычная исторія: декадентство добивается нѣкотораго *литературнаго* признанія—и самъ С. А. Венгеровъ признаетъ его литературную цѣнность: «можно какъ угодно относиться къ Бальмонту, Брюсову, Блоку, новѣйшимъ «миоотворцамъ», но кто желаетъ считаться съ реальными фактами, тотъ долженъ констатировать, что эта новая поэзія теперь господствуетъ и что она привила совершенно новые приемы, новый слогъ и даже новые метры». Трагическая дилемма: надо или вычеркнуть изъ русской литературы уже признанное декадентство или отстаивать «героическій характеръ» Бальмонта и миоотворцевъ. Разъ новые метры водворились въ литературѣ прочно, первое, очевидно, невозможно; тогда неизбѣжно второе. «Остается ли по прежнему русская литература тою каеэдрой, съ которой раздается учительное слово? Не отодвинулись ли въ литературѣ послѣдней четверти вѣка на второй планъ интересы нравственно политическіе? По прежнему ли наша литература есть выраженіе тоски русской души по нравственному подвигу?»

Успокоительные отвѣты слѣдуютъ за этими трагическими вопросами. Все обстоитъ благополучно. «Новыя теченія» въ своемъ теперешнемъ видѣ не угрожаютъ никакой опасностью исконнымъ традиціямъ русской литературы и являются однимъ изъ органическихъ звеньевъ великой цѣпи».

Грустную усмѣшку вызываютъ тѣ аргументы, которыми напелъ возможнымъ ограничиться С. А. Венгеровъ, чтобы основать на нихъ свой тезисъ: «теперешній модернизмъ, который поэтому я и предлагаю назвать модернизмомъ *синтетическимъ*,—направленіе, соединившее въ себѣ основное зерно исконныхъ, героическихъ традицій русской литературы съ естественнымъ исцеленіемъ новыхъ литературныхъ формъ». Въ чемъ же увидѣлъ С. А. Венгеровъ это «верно героическихъ традицій»? Въ чемъ усмотрѣлъ *кризисъ* декадентства подъ влияніемъ успѣховъ освободительнаго движенія? Трудно представить себѣ, сколь малымъ довольствуется здѣсь панегиристъ русской литературы: Бальмонта, «ушедшаго отъ печали земли въ свѣтлую область «Безбрежнаго» и якобы отрѣшившагося отъ всего «конечнаго», своеобразно, но весьма ярко захватываетъ тотъ подъемъ, который сказался въ марксизмѣ и гордомъ вызовѣ Максима Горькаго». Мережковский и Гиппиусъ заявляютъ, что «одинъ эстетизмъ не удовлетворитъ ихъ душевнаго голода» и становятся душой «Религіозно-философскихъ собраній». Изъ кружка Вячеслава Иванова исходитъ ученіе о мистическомъ анархизмѣ. Правда, мистическій анархизмъ для С. А. Венгерова есть нѣчто вродѣ «кондитерскаго пистолета изъ шоколада». «Но все таки очень знаменательно самое желаніе именоваться страшнымъ словомъ. Настроеніе сказывается во всемъ, и развѣ не характерно, что прежде «новыя теченія» создали мистическое оправданіе *самодержавія*, а теперь «сочинили мистическій *анархизмъ*?» Но если—замѣтимъ кстати—оправданіе самодержавія несомнѣнимо съ героическимъ характеромъ, то почему С. А. Венгеровъ молчалъ объ этомъ, когда говорилъ, напримѣръ, о Жуковскомъ, или о Гоголѣ, или о Достоевскомъ?

Дальше идетъ та же дешевая продажа индульгенцій. И то, что Мясской, отказавшійся отъ «печальнаго титула отца русскаго декадентства», становится въ дни свободы «самымъ крайнимъ изъ большевиковъ» и пишетъ «поистинѣ каннибальскій «Гимнъ рабочихъ»,—должно также служить доказательствомъ «героическаго характера русской литературы». Все въ одну кучу. Брюсовъ оказался чистѣйшимъ классикомъ, отказался отъ бьющихъ на эффектъ выходокъ, «первый въ русской поэзіи становится пѣвцомъ города» и «все больше и больше начинаетъ интересоваться реальной дѣйствительностью». Очень пріятно, но неужто и это относится къ высокой категоріи героизма русской литературы? То же съ Бальмонтомъ, то же съ Сологубомъ, то же съ Мережковскимъ. И для cadaго свой критерій, для cadaго свой хитро-сплетенный и уклончивый путь къ «героизму». Сперва въ «новыхъ теченіяхъ» героично было то, что отъ мистическаго реакціонерства они перешли къ мистическому анархизму; черезъ десять страницъ этотъ доводъ оказывается ничтожнымъ: «если мнѣ новѣйшая фаза русскаго модернизма кажется возвращеніемъ къ

исконнымъ завѣтамъ русской литературы, то не по темамъ и не потому, что онъ изъ реакціоннаго сталъ радикальнымъ, а потому, что въ немъ звучать теперь ноты серьезныя и величавыя, думы тревожныя и страдальческія».

III.

Вотъ это могло быть важно, это могло быть существенно. Литература дѣлаетъ великое, героическое дѣло не тѣмъ, что пишетъ неискренніе «каннибальскіе» гимны и сочиняетъ нефѣльныя теоріи соборнаго индивидуализма, но тѣмъ именно, что рождаетъ думы тревожныя и страдальческія. Здѣсь подлинный героизмъ и личный, и общественный, ибо безъ личной тревоги и страданія не зазвучать въ поэзіи народа эти серьезныя и величавыя ноты. Но почему ихъ именно не раскрылъ, не показалъ намъ С. А. Венгеровъ? Почему онъ настойчиво пряталъ «реакціонность» стари-ковъ? Почему не только на «синтетическомъ модернизмѣ», но и на нашихъ классикахъ, на этихъ подлинныхъ герояхъ русской литературы, онъ не выяснилъ всего значенія этого, единственно доступнаго литературѣ героизма? Въмѣсто этого онъ доказываетъ «тѣсную связь Достоевскаго съ настроеніями 70-хъ годовъ»; онъ доказываетъ, что «героическое пониманіе жизни органически, всѣмъ смысломъ его творчества, въ той же степени присуще Чехову, какъ и Достоевскому, какъ и Тургеневу, Толстому и прочимъ большимъ и малымъ печальникамъ литературы русской»; онъ послѣ солтвѣтственной аргументаціи торжественно заявляетъ: «А посему я по совѣсти не могу не признать жаждущую совершенства душу «Вѣхъ» родной сестрой «критически мыслящей личности» Лаврова и ихъ обѣихъ родными дочерьми великой русской тоски по правдѣ. А гдѣ тоска по правдѣ, тамъ уже и подвижничество».

Вотъ какъ легко стать въ рядъ съ Толстымъ и Достоевскимъ, съ Лавровымъ и Чернышевскимъ: всѣ мы подвижники, всѣ герои. Но не только подвижникомъ, такъ же легко стать чѣмъ угодно. Цѣлыя страницы тратитъ С. А. Венгеровъ въ полемику съ марксистами на доказательство того, что «за немногими исключеніями, вся наша художественная литература есть, начиная съ Гоголя, прямое оплеваніе жизни «командующихъ классовъ». Онъ прибавляетъ, конечно: «для ясности рѣзко выражаясь», но суть остается: плевка не смягчишь. Идетъ цѣлый рядъ доказательствъ: Тургеневъ «до небесъ превозноситъ, явно при этомъ преувеличивая, нравственныя качества народа», а представители правящаго класса у него «поражаютъ своимъ нравственнымъ безобразіемъ». У литературныхъ сверстниковъ Тургенева «уже сплошная черная краска»: у Салтыкова, напримѣръ, у Некрасова, у Пи-

семскаго и Гончарова. «Безмѣрно выше «нѣдра народной жизни» у Толстого, и безмѣрнымъ презрѣніемъ обдаеть онъ весь укладъ своего «класса».

Всю эту гнусность цѣлаго культурнаго класса, выдвинувшаго великихъ представителей и мыслителей, которые якобы не нашли въ немъ ничего, кромѣ грязи, достойной оплеванія, С. А. Венгеровъ противопоставляетъ теоретикамъ классоваго истолкованія литературной исторіи. Много грѣховъ у марксистскихъ историковъ литературы, но, разумѣется, только укрѣпить ихъ позицію могутъ аргументы такого рода. Не ихъ позиціи, однако, интересуютъ насъ здѣсь, а русская литература, то очарованіе ея, которое такъ сильно охватываетъ С. А. Венгерова, и такъ слабо имъ объяснено. Русская литература дала рядъ безсмертныхъ образовъ не только неподражаемо правдивыхъ, но и бесконечно прекрасныхъ; они стали частью нашего существа, радостнымъ убѣжищемъ нашей фантазіи, источникомъ размышленія и поученія; мы любимъ ихъ, какъ близкихъ живыхъ людей—и не хотимъ другихъ, не хотимъ лучшихъ. Бабушка и Вѣра и Илья Ильичъ Гончарова, князь Андрей и княжна Марія, и Пьеръ, и Долли, и Наташа Льва Толстого, Рудинъ и Уваръ Ивановичъ, Наталья и Елена Тургенева, князь Мышкинъ, и Лиза Дроздова, и Степанъ Трофимычъ Достоевскаго—и вся длинная вереница бесконечно привлекательныхъ людей, жизненной красотѣ которыхъ можетъ радоваться всякій бытъ, всякій строй: какое ослѣпленіе необходимо для того, чтобы, даже «рѣзко выражаясь для ясности», увидѣть въ этомъ «оплеваніе» той жизни, которой представителями они изображены.

Самъ С. А. Венгеровъ совсѣмъ не убѣжденъ ни въ этомъ огульномъ возвеличеніи мужика на счетъ командующихъ классовъ, ни въ этомъ сплошномъ «самооплеваніи» послѣднихъ. Онъ это такъ, въ увлеченіи тезисомъ. Онъ самъ вспоминаеть о томъ, что крупнѣйшій и правдивѣйшій изъ писателей народниковъ, Глѣбъ Успенскій, «не только не идеализировалъ народъ, но сплошь да рядомъ даже сгущалъ краски суровой правды своей»; онъ знаетъ, что и Чеховъ написалъ «Въ оврагѣ» и Толстой нашель «Власть тьмы»—тьмы моральной—въ крестьянствѣ. Съ другой стороны, онъ знаетъ, въ какой средѣ русская литература брала свои положительные образы. Самый высшій изъ этихъ идеальныхъ образовъ, по мнѣнію С. А. Венгерова, «идіотъ» Достоевскаго—образъ «безпримѣрный во всемірной литературѣ», «безпримѣрный тѣмъ, что авторъ, поставивъ себѣ почти неисполнимую эстетическую задачу «изобразить положительнаго прекраснаго человѣка»,—тѣмъ не менѣ исполнилъ ее. Онъ далъ образъ челоѣколюбца истинно-лучезарной красоты». Оплевана ли среда, давшая князя Мышкина? Да одинъ ли князь Мышкинъ? Вотъ строки С. А. Венгерова, посвященныя эпохѣ послѣ сороковыхъ годовъ: «Искатели правды и подвига становятся центральными типами русской литературы. Сердца двѣушекъ Турге-

нева можно покорить только призывами къ борьбѣ съ косностью и пошлостью жизни». Въ какой же средѣ брали писатели этихъ искателей подвига и прекрасныхъ дѣвушекъ? Конечно, почти исключительно въ своей. И въ этомъ нѣтъ ни личнаго героизма, ни классоваго эгоизма: есть великое стремленіе генія нравственно преобразовать, идеализируя познавать то, что ему близко, что ему знакомо.

Отмѣтимъ, что здѣсь герои Тургенева являются искателями правды и подвига. Нѣсколькими страницами раньше мы читали о нихъ: «Основной типъ Тургенева, всѣ эти слабняки и лишніе люди—что представляютъ они собою, какъ не полное признаніе своей общественной непригодности, полное социологическое банкротство?» Такимъ образомъ русская литература героична, во-первыхъ, потому, что въ образѣ, напримѣръ, Рудина она изображаетъ «слабняка и лишняго человѣка», и тѣмъ проявляетъ свое самоотверженіе, а во-вторыхъ потому, что въ образѣ Рудина изображаетъ искателя правды, призывающаго къ борьбѣ съ косностью, и тѣмъ также проявляетъ свое самоотверженіе. Вотъ какъ хорошо все выходитъ въ русской литературѣ, и какъ легко доказывать, когда доказываешь такимъ образомъ. Только что дѣлать читателю, который хотѣлъ бы не только смутно вѣрить въ героизмъ любимой литературы, но быть въ немъ сознательно убѣжденнымъ? Вотъ, напримѣръ, въ предисловіи онъ прочтетъ, что учительный характеръ русской литературы лишь возвышалъ ея литературныя достоинства: то, что «русская литература всегда была каедрой, съ которой раздавалось учительное слово»—«не только не шло въ ущербъ непосредственно-литературному совершенству, а напротивъ того, сообщало русскому художественному слову особенную проникновенность». И вдругъ на страницѣ 157 тотъ же читатель узнаетъ о Глѣбѣ Успенскомъ слѣдующее: «Самый крупный художественный талантъ не только 70-хъ, но и 60-хъ годовъ, Глѣбъ Успенскій, палъ жертвою того горячечнаго интереса къ вопросу о народномъ благѣ, которымъ ознаменованы семидесятые годы. Онъ не могъ не сознавать, что странная смѣсь беллетристики, публицистики и даже статистики, какую представляли его очерки народной жизни, безусловно вредить дѣльности его художественной дѣятельности». Вѣдь это для основной мысли книги С. А. Венгерова страшное признаніе и страшное противорѣчіе. Ибо вся схема его рушится, если высшее напряженіе альтруизма и героизма губить въ писателѣ большого художника.

Но этихъ противорѣчій, опасности этихъ признаній не чувствуетъ С. А. Венгеровъ. Самую идейность русской литературы онъ сузилъ въ мѣру своихъ идеаловъ. «Все, что придаетъ такую красоту русской литературѣ, все, что составляетъ тайну обаятельнаго впечатлѣнія, которое она производитъ на европейскіе умы,—все это кроется въ томъ, что кающійся дворянинъ и интеллигентъ не могутъ при-

мириться съ соціальною и иною неправдою». Было бы удивительно, если бы было такъ. Было бы непонятно, какъ Европа, зараженная пагубнымъ индивидуализмомъ, сознательно, въ произведеніяхъ лучшихъ своихъ писателей—по мнѣнію С. А. Венгерова—отстаивающая идеалы личнаго благополучія, вдругъ оказалась подъ обаяніемъ пламенной альтруистической проповѣди. «*Я, я, я*—вотъ общій смыслъ европейскаго индивидуализма и эстетизма. *Не я, не я, не я*,—вотъ основная черта, подоплека новой русской литературы на всемъ протяженіи». Это вѣдь пропасть—не могутъ-же люди, ею раздѣленные, увлекаться столь безконечно чуждыми имъ моральными идеалами. Этого и не было. Съ одной стороны, поверхностная антитеза С. А. Венгерова извращаетъ перспективу и заключаетъ въ себѣ лишь ничтожную долю истины. Съ другой стороны,—и это самое важное—европейцы увлекались въ русской литературѣ многимъ, что осталось скрытымъ и непонятнымъ для ея панагеириста. Какъ ни ошибочно представленіе С. А. Венгерова о моральной жизни Запада, какъ ни близки и понятны европейской литературѣ идеалы самоотверженія и подвиги альтруизма, конечно, не такъ просто было для Запада содержаніе русской литературы. Напомнимъ, напримѣръ, чѣмъ Ничше обязанъ Достоевскому. Или автора «Заратустры» увлекла въ «Запискахъ изъ подполья» тоже «борьба съ соціальною неправдою»? Высокія альтруистическія настроенія русской литературы бросились когда-то въ глаза Мельхиору де-Вогюэ—и онъ воздалъ имъ должное. Но съ тѣхъ поръ прошло больше четверти вѣка, и намъ надлежало бы, не оставаясь на точкѣ зрѣнія, естественной для иностранца, стараться углубить ее, стараться раскрыть все возможное богатство ея содержанія. Точка зрѣнія С. А. Венгерова его суживаетъ: русская литература велика не только высотой своихъ нравственныхъ идеаловъ, но прежде всего глубиной своей мысли, своей творческой силой, своей художественной честностью. Въ послѣдней подвигъ не меньшій подвига челолюбія; его не замѣтилъ С. А. Венгеровъ.

Не замѣтилъ онъ многого и въ европейской литературѣ, къ которой онъ сумѣлъ быть удивительно несправедливымъ. Намъ кажется, что никакое возвеличеніе русской интеллигенціи и русской литературы въ этой несправедливости не нуждалось. Скорѣе наоборотъ.

IV.

Не только по высотѣ нравственныхъ идеаловъ, но и по художественной силѣ оказалась мелкой литература всѣхъ европейскихъ народовъ въ изображеніи С. А. Венгерова. Легко и просто онъ доказываетъ эти маловѣроятныя вещи. «Если брать для сравненія только новѣйшій періодъ русской литературы, литературу *второй половины XIX столѣтія*, то простой перечень корифеевъ пока-

жетъ, что мѣсто ея нѣсколько иное. Неужели произведенія Толстого, Тургенева и Достоевскаго стоятъ только *рядомъ* съ англійскою и американскою литературой второй половины XIX вѣка, кульминаціонными точками которой являются романы Джорджъ Элиотъ, Бичеръ Стоу, рассказы Бретъ-Гарта, туманная поэзія Броунинга, сладенькія идилліи Тениссона? Только ли рядомъ слѣдуетъ ее помѣстить и съ тою нѣмецкою литературой, во главѣ которой стояли Ауэрбахъ, Фрейтагъ, Шпильгагенъ и Поль Гейзе? Наконецъ, не совсѣмъ рядомъ ей мѣсто даже съ французскою литературой послѣдняго полувѣка, хотя она блистаетъ такими сильными талантами, какъ Дюма-сынъ, Флоберъ и Гюи-де-Мопассанъ». Но остановимся на томъ, что С. А. Венгеровъ такъ легко и спокойно прошелъ здѣсь мимо скандинавскихъ литературъ, какъ будто ихъ не было. Всякому ясно также, что здѣсь для сравненія взять совершенно случайный и очень выгодный для русской литературы моментъ. Самъ авторъ указываетъ, что литература первой половины XIX вѣка была въ Европѣ выше литературы второй его половины, что произведенія Гете, Байрона, Гюго выше произведеній Поля Гейзе, Бичеръ-Стоу, Гюи-де-Мопассана. Но вѣдь такъ можно было бы взять для сравненія одинъ удачный или неудачный годъ—и покончить дѣло; вѣдь рѣчь идетъ о литературѣ во всемъ ея объемѣ, о ея основномъ характерѣ, а не о ея корифеяхъ въ тотъ или иной, съ особой цѣлью подобранный промежутокъ времени. Что слѣдуетъ изъ того, что въ эпоху 1850—1900 нѣмецкая литература не выставила ни одного имени равнаго имени Тургенева, Достоевскаго, Толстого? Да равно ничего. И хорошъ подборъ этихъ корифеевъ; какой злой духъ подсказалъ его С. А. Венгерову. Почему, имѣя необходимость оцѣнить новую европейскую литературу, онъ удовлетворился своими ранними читательскими впечатлѣніями и не посчитался съ оцѣнками общепринятыми на Западѣ и не возбуждающими спора у насъ. Шпильгагенъ былъ у насъ общественно-политическимъ воспитателемъ молодой Россіи, Ауэрбаха читали, Фрейтага цѣнять и нѣмцы, но развѣ мыслимо говорить о корифеяхъ нѣмецкой литературы второй половины XIX вѣка и при этомъ забыть *только* Готфрида Келлера, *только* Геббеля, *только* Отто Людвига. Ихъ у насъ не знаютъ, но это не основаніе для С. А. Венгерова; романъ Отто Людвига показалъ бы ему, что такое подлинное «я, я, я» европейской литературы. И нѣтъ, конечно, никакого основанія молчать здѣсь о Рихардѣ Вагнерѣ, котораго самые разнообразныя исторіи новой нѣмецкой литературы считаютъ значительнѣйшимъ ея представителемъ. Какъ можно называть Бичеръ-Стоу корифеемъ и не упомянуть не только Мерцита, но и Теккерея, изъ крупныхъ романовъ котораго только «Ярмарка тщеславія» относится къ первой половинѣ прошлаго вѣка—къ самому концу ея (1848). Диккенса и Гюго С. А. Венгеровъ относитъ безъ оговорокъ къ одной эпохѣ, нашихъ великихъ романистовъ—

къ другой и тѣмъ, дѣйствительно, избѣгаетъ сопоставленія, которое было бы неудобно для его тезиса: «Безъ всякаго національнаго бахвальства можно сказать слѣдующее: по индивидуальному генію своихъ высшихъ проявленій, а главное, по основнымъ теченіямъ своимъ русская литература второй половины XIX вѣка стоитъ безусловно выше новѣйшей западно европейской литературы, кульминаціонной пунктъ которой не во второй, а въ *первой половинѣ* вѣка, въ творчествѣ Гете, Шиллера, Гейне, Байрона, Вальзака, Гюго, Жоржъ-Зандъ, Диккенса». Списокъ не плохъ: казалось бы, послѣ него можно бы и не утверждать, что учительный характеръ есть специфическая особенность русской литературы, противопологающая ее западнымъ; европейскіе герои, мученики, проповѣдники любви въ литературѣ стоятъ русскихъ: «безъ всякаго національнаго бахвальства» невозможно это отрицать. Но разъ С. А. Венгеровъ оперируетъ дѣленіемъ на эпохи, проверимъ его хронологію; вотъ нѣсколько датъ: 1845 г. — «Бѣдные люди»; 1846 — «Лукреція Флоріани» Жоржъ-Зандъ; 1847 — «Хоръ и Калинычъ»; 1846 — «Домби и сынъ»; 1848 — «Бѣлыя ночи»; 1849 — «Неточка Незванова» и «Давидъ Копперфильдъ»; 1850 — «Пенденнисъ», 1852 — «Дѣтство» Толстого, 1854 — «Les châtimens» Гюго и «Ньюкомы» Теккерея; 1855 — «Севастопольскіе рассказы» и «Крошка Доритъ», 1856 — «Les contemplations» и «Рудинъ»; 1859 — «Адамъ Бидъ» Джорджъ Эліотъ и «Дворянское гнѣздо»; 1862 — «Les misérables» и «Отцы и дѣти». Что же еще? «Труженики моря» появились *послѣ* «Войны и міра», «Девяносто третій годъ» *послѣ* начала «Анны Карениной». Совершенно ясно, что *середина* XIX вѣка, а не первая или вторая его половины есть цѣльный литературный періодъ, что въ развитіи всей европейской литературы — въ томъ числѣ и русской онъ запечатлѣнъ гуманитарными тенденціями. И потому противопологать русскую литературу европейской нѣтъ достаточныхъ оснований. Или точнѣе: разумѣется, *можно* противопологать русскую литературу европейской и по основнымъ теченіямъ, и по особымъ достоинствамъ формы, и по моральнымъ тенденціямъ: на то русская литература есть великое твореніе великаго народа, столь отличнаго отъ своихъ западно-европейскихъ собратьевъ. Но дѣлать это надо не такъ, какъ сдѣлалъ С. А. Венгеровъ: безъ несправедливости къ чужимъ, безъ грубаго восхваленія своихъ, въ планѣ изученія, а не осужденія, «безъ національнаго бахвальства».

Ибо въ чемъ разница между законной народной гордостью и тѣмъ національнымъ бахвальствомъ, которое отвергаетъ С. А. Венгеровъ въ теоріи и не сумѣлъ преодолѣть на практикѣ? Да въ томъ, что народная гордость спокойно, сознательно ставитъ *свои* идеалы и въ вѣрности своимъ идеаламъ и въ сознаніи ихъ высоты черпаетъ увѣренность въ своей правотѣ и силѣ. Національное бахвальство, лишенное своей фізіономіи, лишь хвастаетъ тѣмъ, что перегнало другихъ на пути, ими созданномъ для себя. Народная

гордость въ тяжелый часъ необходимой борьбы говорить: мы побѣдимъ; бахвальство кричить: шапками закидаемъ. Гордиться можно, и не сопоставляя себя съ другими, бахвалиться можно только на чужой счетъ.

И для того, чтобы внушить законную гордость идеализмомъ русской литературы, надлежало не унижать чужую литературу и ея идеалы, а познать; познать ихъ значило бы дать имъ высокую оцѣнку, и этимъ высокимъ идеаламъ великой европейской литературы можно было побѣдоносно противопоставить идеалы, освѣтившіе путь и давшіе содержаніе литературѣ русской: какая высокая, какая достойная была бы это побѣда.

А С. А. Венгеровъ пишетъ: «какой же человѣкъ съ развитымъ эстетическимъ пониманіемъ не чувствуетъ, на сколько мельче многопрославленный европейскій реализмъ 1870-хъ и 1880-хъ годовъ, такъ близко граничащій съ порнографіей и отсутствіемъ идеаловъ, въ сравненіи съ реализмомъ русскихъ писателей? У русскихъ писателей жизненность изображенія въ самомъ дѣлѣ доведена до полнаго воспроизведенія дѣйствительности, и это до послѣднихъ предѣловъ реальное воспроизведеніе все таки озарено свѣтомъ идеала и полно такой любви къ человѣку, о которой и помину нѣтъ даже у крупнѣйшихъ европейскихъ реалистовъ. Тѣ въ своемъ анализѣ жизни дошли до предѣла, гдѣ трезвость и правда изображенія переходятъ въ невольный апофеозъ грубѣйшихъ инстинктовъ животной природы человѣка». Рѣчь идетъ, очевидно, не о «европейскомъ реализмѣ», а о французахъ; изъ нихъ С. А. Венгеровъ упоминаетъ только о Мопассанѣ. Ограничивъ сопоставленіе семидесятыми и восьмидесятыми годами, С. А. Венгеровъ уклонился отъ неудобнаго воспоминанія о «Мадамъ Бовари». А между тѣмъ слѣдовало бы имѣть въ виду, что реализмъ этого романа не превзойденъ никѣмъ, трагическая высота его не боится никакого сравненія, а отвращеніе къ сытому благополучію, къ пошлему пресуспѣянію выражено въ его образахъ съ громадной силой и разнообразіемъ. Нуждается ли идеализмъ Мопассана въ защитѣ? Левъ Толстой показалъ сложность его развитія, раскрылъ пути, пройденные его дарованіемъ, и провозгласилъ его «могучій нравственный ростъ въ продолженіе его литературной дѣятельности».

Идеаловъ европейской литературы не хочетъ знать С. А. Венгеровъ. Ихъ нѣтъ, этихъ идеаловъ. Въ ней вмѣсто идеаловъ и героизма «главную роль играютъ проблемы себялюбиваго индивидуализма»; принято считать Шиллера идеалистомъ; это—пустяки; онъ—поэтъ карьеристовъ: «Въ нѣмецкой литературѣ, начиная съ Шиллеровской «Пѣсни о колоколѣ», идеаль мужчины—тогъ, кто «устраиваетъ свою судьбу», добивается «положенія въ свѣтѣ».

Да, Шиллеръ былъ не только пѣвцомъ политической свободы,—во идеалистомъ и мыслителемъ онъ былъ вездѣ, былъ имъ и въ «Пѣснѣ о колоколѣ». Не сытость и не положеніе въ свѣтѣ онъ во-

Нбръ. Олдѣ

співаль въ ней, а строительство жизни, подвигъ жизни. И къ этому подвигу въ значительной степени сводится то, что С. А. Венгеровъ такъ пренебрежительно называетъ «себялюбивымъ индивидуализмомъ» европейской литературы. Жизнь каждаго человѣка есть, сложная, тяжелая, жестокая и отвѣтственная вещь—вотъ вѣдь красная нить, проходящая по всей европейской литературѣ, вотъ ея основной мотивъ. На тему о бремени личной отвѣтственности, о трудности найти себя, построить свою жизнь написаны тысячи томовъ европейскими художниками. Сотни трагическихъ образовъ раскрываютъ предъ нами громадность жизненныхъ задачъ, которыя за свой счетъ долженъ рѣшать для себя европейскій человѣкъ; въ сотняхъ сатирическихъ, отрицательныхъ образовъ воплотилось презрѣніе европейскаго писателя ко всему сытому, самодовольному, грубому, себялюбивому; а С. А. Венгеровъ въ двухъ десяткахъ строкъ раздѣльвается съ европейской литературой, въ которой главную роль играютъ «проблемы себялюбиваго индивидуализма». Однако все таки «проблемы», значить, это не такъ просто, значить, здѣсь есть надъ чѣмъ задуматься. И европейская литература задумывается: не даромъ она есть высокое воплощеніе мысли великихъ народовъ, не даромъ она есть, быть можетъ, высшее изъ чѣмъ «святыхъ чудесъ», о которыхъ съ восторгомъ преклоненія говорилъ вмѣстѣ съ своимъ Версиловымъ Достоевскій. Не хуже С. А. Венгерова и его многочисленныхъ героевъ знаетъ европейская литература цѣну высокому альтруизму и низкому эгоизму, но она знаетъ—чего не хочетъ знать С. А. Венгеровъ,—какъ далеко отъ этого элементарнаго животнаго эгоизма «себялюбивый индивидуализмъ» ея подлинныхъ героевъ, какое бремя долга онъ возлагаетъ на отдѣльнаго человѣка, какъ часто альтруизмъ есть лишь часть этого «себялюбія», и какая мелкая часть. И если-бы С. А. Венгеровъ не былъ ослѣпленъ своей идеей, если бы для него важнѣе было углубить, чѣмъ внушить ее, онъ, надо думать, не только въ «новѣйшей фазѣ русскаго модернизма» услышалъ тѣ «думы тревожныя и страдальческія», которыя дѣлаютъ подвигомъ литературу, но, напримѣръ, въ лирикѣ Уайльда и Верлена,—конечно, крайнихъ индивидуалистовъ.

V.

Какъ далеко С. А. Венгеровъ отъ того, чтобы признать это и нересмотрѣть свои отрицательныя воззрѣнія на европейскую литературу, показываетъ предпоследняя—безъ преувеличенія чудовищная—страница его книги, посвященная Ибсену. Здѣсь прямо заявлено, что «западно-европейское отстаиваніе личности какъ разъ въ томъ и состоитъ, чтобы освободить ее отъ какихъ бы то ни было обязанностей. И потому, грубо выражаясь, это—эгоизмъ, и

только изъ вѣжливости можно говорить объ «индивидуализмѣ». Въ примѣръ приведено творчество Ибсена. Правда, «Брандъ есть воплощеніе идеи самого неумолимаго исполненія долга. Но это ригоризмъ чисто-индивидуалистическій, потому что въ немъ нѣтъ ни капельки реального состраданія къ ближнему, это какое-то сухое разсудочное, математическое рѣшеніе моральной задачи, въ которомъ всякая живая человѣчность совершенно исчезла. Это героизмъ ради героизма, во имя удовлетворенія самого себя». Вотъ и раздѣлялись съ Брандомъ. Какъ легко по этому рецепту раздѣлаться со всякимъ героизмомъ,—и какой сухой эгоисткой оказалась бы Лиза Калитина, если бы создателемъ ея образа былъ европейскій писатель. Есть еще герои у Ибсена: «Несомнѣнно, героическая натура и докторъ Штокманъ, но какимъ ужасомъ вѣтеть отъ этого опять таки чисто-индивидуалистическаго героизма, отъ общаго смысла пьесы, которую никакъ иначе какъ человѣконеуважительной не назовешь, отъ страшныхъ заключительныхъ словъ Штокмана: счастье въ томъ, чтобы быть одинокимъ». Правда, Штокманъ говорилъ нѣсколько иное и даже совсѣмъ иное; правда, онъ пожертвовалъ собою въ борьбѣ съ ложью, съ эгоизмомъ, съ предательствомъ, но стоитъ ли разбираться въ этомъ? Ибсенъ, какъ полагается западно-европейскому писателю, «освободилъ его отъ всякихъ обязанностей» и его героизмъ есть лишь вѣжливая форма эгоизма. Но лучше всего порѣшилъ С. А. Венгеровъ съ героиней «Кукольнаго дома»: «Нора, симпатичная Нора, несомнѣнная избранница духа, которой, дѣйствительно, должно быть такъ нестерпимо въ тѣсныхъ рамкахъ мѣщанской условности и трусливости,—развѣ она свое «освобожденіе» не поставила выше своего долга? Она вѣдь бросаетъ во имя идеи свободы личности не только пошляка-мужа, на что, конечно, имѣетъ полное право, но и дѣтей, на что ужъ никакого права не имѣетъ. Можно, конечно, найти смягчающія обстоятельства для ея вины, но это все таки вина».

Увы, если старый заслуженный писатель можетъ это говорить, съ этимъ, очевидно, надо спорить. Но въ сущности героиня Ибсена, пожертвовавшая высшимъ, чѣмъ можетъ жертвовать мать, ради того, что она считаетъ своимъ долгомъ—не нуждается, конечно, въ защитѣ отъ такихъ обвиненій. Не для себя въ конечномъ счетѣ приносятъ такія жертвы—или нѣтъ на свѣтѣ никакихъ жертвъ: и гибель на эшафотѣ за идею тоже вѣдь можно свести къ утопченному эгоизму, и это дѣлалось... Припомнимъ старую терминологию Н. К. Михайловскаго: для С. А. Венгерова преодоленіе эгоизма исключительно въ болѣзни совѣсти, и этой болѣзнью свята для него русская интеллигенція. Но лучшіе ея представители знали и о болѣзни чести; не ее ли называетъ С. А. Венгеровъ «индивидуалистическимъ героизмомъ»? Не она ли стоитъ въ центрѣ множества трагедій, созданныхъ европейской художественной мыслью? Не ее ли проглядѣлъ и не захотѣлъ оцѣнить С. А. Венгеровъ?

По его мнѣнію, «сущность выясняемаго новою европейскою литературою трагизма жизни» — «единственно въ томъ, что этотъ трагизмъ угрожаетъ благополучію индивида». Слѣдовало бы помнить одно: если угроза благополучію *трагична*, то такая трагедія никогда не заключаетъ въ себя апологіи благополучія: на то она трагедія. Именно трагичность міровоззрѣнія новой европейской литературы, признанная самимъ С. А. Венгеровымъ, опрокидываетъ все его построение: разъ литература запечатлѣна трагизмомъ, значитъ, она выясняетъ высшія задачи жизни. Шапки долей передъ нею; въ ней можетъ въ теченіе извѣстнаго времени не быть геніевъ, но нельзя ее — выразительницу великихъ міровоззрѣній, учительницу великихъ народовъ — осуждать съ легкимъ сердцемъ. Знать ее, значитъ, уважать. А уважать совсѣмъ не значитъ приписывать ей небывалыя добродѣтели. Вотъ, напримѣръ, съ какимъ достоинствомъ Куно Франке, авторъ «Соціальныхъ силъ въ нѣмецкой литературѣ», характеризуетъ тотъ ея періодъ, когда она, дѣйствительно, «потеряла руководящую роль въ борьбѣ за общественный прогрессъ»:

«Въ промежутокъ времени отъ 1848 г. до окончательнаго установленія германскаго единства, германская литература, помимо музыкальныхъ драмъ Вагнера, произвела мало такого, что отставало бы высшія цѣли жизни. Это не значитъ, чтобы за это время не было талантливыхъ писателей. Стоитъ только вспомнить о такихъ именахъ, какъ Гейбель, Геббель, Отто Людвигъ, Густавъ Фрейтагъ, Вильгельмъ Йорданъ, Шахъ, Гамерлингъ, Шеффель, Данъ, Шпильгагенъ, Поль Гейзе, Штурмъ, Фонтане, Раабе, Фрицъ Рейтеръ, Готфридъ Келлеръ, Анценгруберъ, Розеггеръ, — чтобы видѣть, какое богатство честности, серьезной мысли, патриотической преданности, эстетической утонченности, сердечнаго веселья, глубокаго чувства и необъядимаго юмора было вложено тогда въ нѣмецкую литературу. Но тѣмъ не менше остается вѣрнымъ, что нѣмецкая литература за десятилѣтія, предшествовавшія франко-прусской войнѣ, а также непосредственно слѣдовавшія за нею, перестала быть важной движущею силой въ національной жизни».

Вотъ что такое истинная высота критерія. За видимымъ осужденіемъ того періода, который такъ легко отвергнуть С. А. Венгеровымъ, какое признаніе, какая требовательность! Что было бы, если бы С. А. Венгеръ попытался примѣнить столь высокій и содержательный критерій къ новой русской литературѣ? О, разумѣется, это грозило бы не сплошнымъ осужденіемъ, наоборотъ, это лишь еще возвысило бы то, что есть высокаго въ русской литературѣ, но отвело бы менше возвышенное мѣсто многому, что вынужденъ былъ превознести С. А. Венгеръ, ибо этого требовала его схема.

Въ отвѣтъ на пламенное привѣтствіе Октава Мирбо, который восторженно исчислялъ, сколь многимъ онъ обязанъ той моральной высотѣ русской литературы, которой онъ не нашелъ въ литературѣ французской, Левъ Толстой съ сдержанностью напомнилъ ему о тѣхъ сокровищахъ, которыя таитъ всякая литература. «Я думаю—писалъ онъ—что каждый народъ пользуется различными способами для выраженія идеала, общаго всему человечеству, и что по этой причинѣ мы испытываемъ особое наслажденіе, когда видимъ нашъ идеалъ въ новомъ и неожиданномъ для насъ выраженіи. Нѣкогда французское искусство дало мнѣ это ощущеніе открытія,—когда въ первый разъ я прочиталъ произведенія Альфреда-де-Виньи, Стендаля, Виктора Гюго, и особенно Руссо. Я думаю, что именно этимъ ощущеніемъ объясняется то преувеличенное значеніе, которое вы приписываете сочиненіямъ Достоевскаго и тѣмъ болѣе моимъ».

Эта божественная скромность, думается намъ, пристала не только великанамъ русской литературы, но и всѣмъ ея труженикамъ: не потому, что скромность есть украшеніе добродѣтели, но потому, что признавать чужія достоинства во всей полнотѣ значитъ быть сильнымъ. «Новая русская литература — говоритъ С. А. Венгеровъ—всегда была храмомъ, въ которомъ пѣлись священные каноны». Пусть это—правда, высокая правда. Но тѣмъ непростительнѣе, тѣмъ страшнѣе забывать другую правду: всякая великая литература есть храмъ. Въ ней воплощено народное творчество, народная вѣра, народная правда. И если нѣтъ избранныхъ народовъ, то нѣтъ избранныхъ литературъ. Различны ихъ пути, различны силы, различны идеалы, но всѣ идутъ въ одной высотѣ. Во всякомъ храмѣ молятся тому же Богу, но въ каждомъ по своему. И высокую службу своей религіи—и всему человечеству—оказываетъ не тотъ, кто превозноситъ ее на счетъ другихъ, которыя презираетъ, не углубившись въ нихъ, но тотъ, кто, познавъ и ихъ величіе, раскрываетъ сущность и высоту своей вѣры.

Съ юношескимъ увлеченіемъ воспѣлъ С. А. Венгеровъ нравственную красоту русской литературы,—и достойной наградой его молитвеннаго преклоненія передъ нею будетъ не только успѣхъ его проповѣди, но и то, что его излюбленная мысль будетъ отнынѣ очевидно связана съ его именемъ. Вопросъ о содержаніи, которое онъ вкладываетъ въ эту мысль, отходитъ какъ бы на второй планъ предъ пафосомъ его убѣжденности, предъ красотой его основного тезиса, предъ его настойчивой восторженностью. Но и полное признаніе его заслуги не должно мѣшать намъ провѣрить его аргументацію. Онъ хотѣлъ прославить героическій характеръ русской литературы: это—высокая цѣль. Онъ при этомъ обезцѣнилъ героизмъ: это—дурное средство.

А. Горнфельдъ.